

Н.Б. Граматчикова

Институт истории и археологии УрО РАН

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА ЮЖНОГО УРАЛА В РАБОТАХ В. ЗЕФИРОВА И В. ЮМАТОВА (По материалам «оренбургских губернских ведомостей» середины XIX века)¹

Время пребывания И.П. Сосфенова на посту редактора неофициальной части «Оренбургских губернских ведомостей» (1845–1853 гг.) оказалось очень плодотворным: в газете были сформированы основные тематические блоки и создана сеть корреспондентов. Материалом статьи являются публикации этого периода двух из авторов ОГВ: одаренного литератора В. Зефирова и историка-любителя В. Юматова. Анализируется формирование основных концептов историко-культурного ландшафта Южного Урала Оренбургского края, определяются основные интонации описания местностей и исторических событий, выявляются «точки рефлексии». Концептуализация образов и сюжетов, важных для территории, становится одной из возможных форм репрезентации «гения места» / «памяти» / «голоса крови» в произведениях более позднего периода — романах А. Федорова и Н. Крашенинникова рубежа XIX–XX вв.

Ключевые слова: *Южный Урал, Башкирия, Оренбургский край, Оренбургские губернские ведомости, Уфа, «гений места», В. Зефиров, В. Юматов, А. Федоров, Н. Крашенинников, башкиры.*

Gramatchikova N.B.

Institute of History and Archeology UB RAS

THE SOUTHERN URAL'S HISTORICAL AND CULTURAL LANDSCAPE IN THE WORKS OF V. ZEFIROV AND V. UMATOV («ORENBURG PROVINCIAL GAZETTE» IN THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY)

Sosfenov's work as an editor of the unofficial part of the «Orenburg Provincial Gazette» (1845–1853) was very fruitful: main thematic blocks were formed and a network of correspondents was established. The publications written by two of the authors of the «Orenburg Provincial Gazette» during this period became the material of this article. These authors are the talented writer V. Zefirov and the amateur historian V. Yumatov. The formation of the main concepts of the historical and cultural landscape on the Southern Urals / the Orenburg region is analyzed, the basic intonations of the description of localities and historical events are determined, and «points of reflection» are revealed. Conceptualization of the important for the territory images and subjects becomes one of the possible forms of representation of the «genius of the place» / the «memory» / the «voice of blood» in works of a later period - in the novels of A. Fedorov and N. Krasheninnikov at the turn of the 19th and 20th centuries.

Keywords: *Southern Urals, Bashkiria, Orenburg region, Orenburg provincial news, Ufa, «genius of place», V. Zefirov, V. Yumatov, A. Fedorov, N. Krasheninnikov, Bashkirs.*

© Граматчикова Н.Б., 2018

Граматчикова Наталья Борисовна,
к.филол.н., сектор истории литературы Института истории и
археологии УрО РАН
n.gramatchikova@gmail.com

¹ Исследование выполнено в рамках работы по гранту № 16-04-00118
«На границе литературы и факта: языки самоописания в периодической
печати Урала и Северного Приуралья XIX – первой трети XX века».

Тема «родной крови» и — синонимичная ей — «родной земли», разыгрываемая на материале персонажей с бикультурной идентичностью, становится популярной в русской литературе на рубеже XIX–XX веков. Применительно к Южному Уралу «родная кровь» и «родная земля» могут выражать амбивалентные

комплексы чувств: от горячей любви к «малой родине» и своему народу до саморазрушительных психологических коллизий героя. В данном случае мы, прежде всего, имеем в виду романы А. Федорова «Степь сказала» (1898) и Н. Крашенинникова «Амеля» (1915)². Не повторяя сделанных нами прежде выводов³, напомним, что в обоих романах главные герои оказываются в ситуации, когда их изначальная башкирская идентичность оказывается почти вытесненной приобретенной за годы учебы идентичностью «русской», ощущаемой как приобщение к «цивилизации» и городской культуре. Однако вернувшись в родные места и переживая состояние психологического кризиса (любовь-страсть Арсланова (у Федорова) и предполагаемое замужество Амели (у Крашенинникова), герои внемяют «зову крови» и возвращаются к своему народу, уходя в степь и растворяясь в ее мифологическом пространстве. В обоих романах проявляет себя как освобождающая сила «крови», так и ее хтоническая составляющая, выражающая себя в сверхчеловеческой разрушительной силе, сметающей не только сковывающие героя социальные условности, но социальность как таковую, «выбрасывая» героя в мир, где царит логика мифа. Неслучайно древнейший хтонический пласт концепта «гения места» (*genius loci*) отражен в его символическом представлении в виде змеи, что мы видим, в частности, в «Энеиде» Вергилия⁴.

Изучение региональной литературной традиции показывает, что для того, чтобы «гений места» мог начать свой диалог с героем, необходима предварительная «наработка» культурного слоя, скрывающего в своей глубине актуальные для данного места символы и образы. «Оренбургские губернские ведомости» (здесь и далее мы будем использовать сокращение ОГВ), выходящие в Уфе с 1838 года, были на Южном Урале единственным органом периодической печати, где происходил первый этап формирования историко-культурного ландшафта края. К 1847 году редакторская политика И.П. Софенова (1845–1853) привела к формированию в ОГВ сети корреспондентов, способных писать на темы, интересующие газету. Сеть эта была крайне нестабильна в силу разных причин, однако даже прерывистое развитие обеспечивало постепенный прирост тематизмов и авторского мастерства. В этот период интересующие нас процессы концептуализации геокультурного ландшафта Южного Урала с очевидной проекцией на тексты рубежа XIX – XX веков мы находим в текстах двух авторов: литератора Василия Зефирова и историка Василия Юматова. Историк-краевед М. Роднов именует их «звездами уфимского краеведения», отмечая высокий уровень публикаций⁵.

1. Очерки Василия Зефирова: оптика этнографа-«номада»

Василий Васильевич Зефиров, краевед и публицист, чей темперамент вполне соответствовал «ветреной» фамилии, выделяется в ряду корреспондентов ОГВ свежестью взгляда и эмоциональностью текстов. Первая его публикация в ОГВ — очерк «Конские черепа» (1847) [8] — интригующим заголовком, свободой письма, гибкостью интонаций диалога задает новую планку «провинциальной публицистики», формируя беллетристическую направленность документальных этнографических очерков⁶.

1.1. Путешествия как возвращение в детство

Природная живость и любознательность Зефирова во многом предопределили основную образность и интонацию его текстов. Если движение как таковое может быть рассмотрено в качестве одного из ведущих антропологических факторов [4], то тем более сложно переоценить вклад «охоты к перемене мест» в развитие этнографического дискурса. В этом смысле очерки В. Зефирова не являются исключением, их своеобразие составляет отразившаяся в них его беспокойная, ищущая приключений и тяготящаяся размеренной городской жизнью натура. Радость движения — основное чувство Зефирова-путешественника. Любая поездка дарит ему возвращение в детство, принося освобождение от рутинной повседневности и удовлетворение бесконечного любопытства: «Моя страсть, моё первое наслаждение бродить по горам...» [10, 30] (Здесь и далее все выделения в цитатах мои. НГ)⁷.

Обретение нового опыта в непривычной ситуации делает вполне естественным появление роли «ребенка», которую Зефиров-рассказчик,

² Вопрос о степени принадлежности Н. Крашенинникова уральской региональной литературе поднимала Л.Р. Клягина [18]. О романе А. Федорова как произведении, где большую роль играет ландшафтная и этнографическая составляющие — см. Работы Е.Н. Эртнер [23], [24, 20–21], а также Ю.Н. Сыровой [21].

³ О роли «гения места» в романе А. Федорова см. статью Н.Б. Граматчиковой [5].

⁴ Замер Эней. А змея, извиваясь лентой длинной, Между жертвенных чаш и кубков хрупких скользила, Всех отведая яств и в гробнице снова исчезла, Не причинивши вреда и алтарь опустевший покинув. Вновь начинает обряд в честь отца Эней и не знает, Гений ли места ему иль Анхиза прислужник явился [3].

⁵ М. Роднов относит к числу «звезд» также В. Лосиевского, считая его третьим членом «уфимской троицы» [19, 29–50]. Тексты В. Лосиевского анализировались нами в аспекте богатой представленности «нижней демонологии» [6].

⁶ О феномене этнографической беллетристики на материале уральских писателей-этнографов см. статью Е.К. Созиной [19].

⁷ В этом же тексте: «Срок моего пребывания в Табынске уже кончился, и я должен был спешить к месту, где необходимо было моё присутствие; но несмотря на всю важность этого дела, я никак не мог отказать себе в удовольствии посмотреть вблизи на громадное озеро Аккуль, и теперь не раскаиваюсь в том» [10, 28].

не смущаясь, многократно примеряет к себе. Подобное ролевое распределение, например, очевидно в сцене на озере, когда рассказчик впервые оказывается в лодке далеко от берега: «Никогда не бывавши на таких огромных водах, ни однажды не испытыв сжимающего сердце наслаждения — плавать в небольшой лодке над страшною глубиною, я был в каком-то детском восторге, и вероятно от того движения мои были уж чрез чур живы, когда рыбак просил меня сидеть по смирнее. Я притих, и с любопытством следил за косными лодками, которые, сбросив невод, разъезжались в разные стороны» [10, 29]. Аналогичное перевоплощение происходит с ним и в горах: «Миниатюрно было это странствование, но удовольствие, доставленное им, неизмеримо велико. Как резвый ребёнок пустился я бежать по площадке, которою оканчивается гора и дико радовался, спугнув с вышины единственного её обитателя — огромного степного беркута» [11, 33].

Путешествие самим нарративом противостоит рутине городских будней: «Рассказ о пустынноике увлёк меня в мир неуловимых мечтаний, а окружающая тишина дополнила очарование тех минут, которые так редко можно встретить в кругу людей, в кругу той жизни, где на каждом шагу сопутствуют тебе заботы, труды, усталость, огорчения, и редко, редко удовольствие» [10, 22]. Здесь Зефирова разделяет одну из основных оппозиций романтического сознания: противопоставление «прозябания в скучном городе» / «огромной пыльной тюрьмы» / «цивилизованной жизни» / «принужденности и искусственности» малейшей возможности выехать в степь / в деревню / на загородные прогулки, стоящие «неистового хлопотания»⁸. Страсть к движению, жажда нового, боязнь «страшного недуга» прозябания в городе роднят ребенка и степняка, кочевника, номада. Сопоставляя онто- и филогенез, Зефирова склонен осмысливать ностальгию по детским годам как желание возврата «к одной жизни с природой, к своей первобытной детской простоте», потому что «человек никогда не перестанет быть номадом» [11, 30-31].

Путешествия возвращают человека не только в его собственное детство, но и в вечно-длящееся настоящее природы, во вневременную суть жизни, в вечность. В степи происходит встреча далеким прошлым, ибо время там движется по-иному: сопоставления кочевников-киргизов с библейскими персонажами — один из характерных литературных приемов Зефирова: на озере Ильмени «по всему прибрежью раскинуты были кибитки Киргизов, а окрестная степь покрыта табунами лошадей, баранов и верблюдов. Такова картина степной жизни номадов в настоящее время, такова

была она и во дни детей Иакова, блуждавших с своими стадами в пустынях Сирии» [13, 48-49]. Библейские сравнения актуальны для жителя южноуральского фронта Зефирова, ибо апеллируют к общему культурному багажу его и читательской аудитории, позволяя автору, с одной стороны, сделать увиденное понятным и представимым для читателя, а с другой, — вписать «диких детей степей» в «христианский код» русской литературы.

1.2. Василий Зефирова: публицист-медиатор

Зефирова, как никто другой, был органичен в роли медиатора, знакомящего русскоязычную аудиторию с миром кочевников, ибо детство его прошло в степи⁹: пяти лет от роду Василий Зефирова уверенно держался в седле, водил дружбу с киргизскими (казахскими) детьми, хорошо владел их языком: «...как уроженец Киргизской степи, имевший удовольствие быть взлелеянным на руках няньки-Киргиза, называвшегося Кубенькой, которому, при сей верной оказии, грехом считаю не испросить у Аллаха тысячу верблюдов и столько же баранов, если он жив; а если узенькие глаза его сомкнулись навеки и тёмно-бланжевое тело покоится во глубине песка, то да пошлёт ему Аллах такое же количество гурий, и да нянчится он с ними веки вечные с пучками крапивы в обеих руках, как нянчился он со мной при блаженной жизни своей» [13, 48]. Мир кочевников оказался не только близок ему душевно, но и хорошо знаком, родственен.

Выраженное желание «быть номадом» трансформируется в метафорику, композицию и проблематику текстов Зефирова. Очерки Зефирова, по преимуществу, изоморфны его поездкам: «С окончанием рассказа окончился и наш путь» [10, 29]. Окончательный разрыв с городом для него неактуален, скорее, в поездках в нем просыпается «азарт охотника», приносящего в «цивилизованный мир» свою «добычу»: впечатления от встреч, сведения о прошлом и настоящем Башкирии, рассказы жителей степи: «Не только в это блаженное время, но и на

⁸ Приведем важную для нас цитату целиком: «Скучно летом в городе. Пыльные улицы, каменные мостовые, чахоточные бульвары — всё это страшно надоедает, и как-то по неволе хочется убраться куда-нибудь подальше от этой огромной, пыльной тюрьмы, где всё напоминает несносные цепи цивилизованной жизни — принужденность и искусственность. И вот с конца апреля все, у кого есть на это маленькая возможность, хлопотливо оставляют душный город и с радостью отправляются в степь, в деревню. Как же завидуют им те несчастные, кого капризная судьба обрекла на всегдашнее прозябанье в городе; как тоскливо бродят они из улицы в улицу; как неистово хлопочут целое лето о загородных прогулках. Много лет был я жертвою этого страшного недуга; наконец терпение моё лопнуло, судьба улыбнулась, послала мне отрадное приглашение — побывать в деревне, и бросив всё и вся, я пустился странствовать по нашим степям» [11, 30-31]. Отметим, возможность/невозможность путешествия оценивается Зефировым в категориях судьбы (фортуны либо фатума).

⁹ Подробнее о биографии В.В. Зефирова см. в главе «Разыскания о биографии В.В. Зефирова» в книге М.И. Роднова [19, 7-19].

самом пути к нему, я так много встретил приятного, так часто восхищался чудно-прекрасной природой Оренбургского края, что утаить эти впечатления считаю страшною неблагодарностью к судьбе, так мило лелеявшей меня целое лето...» [11, 30–31].

Зефилов-рассказчик прихотливо-разнообразен в своих жизненных практиках и стратегиях: то бежит, спасаясь от взбесившегося верблюжьего стада, то внимает уроку киргизских детей (а также полученной от отца взбучке), запоминая правило степняков — брать из гусиного гнезда не более двух яиц; то умело манипулирует стариками-башкирами, зная, какие струны задеть, чтобы вызвать поток воспоминаний о старине, и где остановить повествование, избегнув соблазна «вынести сор из избы» и оставшись верным принесенным обетам дружбы [13, 45]. Воспетая к середине XIX века «вольная жизнь» степняков коррелирует у Зефилова с той гранью дилетантизма, присущего массовой этнографии середины XIX, что проявляет себя в отсутствии шаблонов и избирательности следования «пунктам программы» описания¹⁰.

Зная и любя культуру кочевых народов Урала, Зефилов всецело относил себя к представителям русской цивилизации. Однако его позиция чрезвычайно своеобразна на фоне других корреспондентов ОГВ: контакты со степняками, включая посещения башкирских кантонов с приемным отцом (священником Зефиловым), полны родственной теплоты («встречены были хозяином с патриархальным радушием дикого сына степей, со всею искренностью человека, который давно не видал ближайших своих родственников» [13, 49]). Прибегая к передаче иноязычной речи, Зефилов предпочитает прямые цитаты тюркских наречий, вместо имитации искаженного русского языка в устах «инородцев»¹¹: «...говор несколько стих; почётнейшие из жителей, т. е. кто постарше и побогаче, пошли к нему на встречу, и началось обычное пожатие рук, с ласковым приветом: саям маликум, хазрет, исяммамс хазрет, и проч. и проч.» [12, 38]¹²; еще пример из детства автора: «Мне первому удалось найти гнездо гусиных яиц и радостным криком я призвал товарищей, желая разделить с ними добычу; но сбежавшиеся ребяташки страшным криком остановили меня: ика кукай ал, артык алма, атай кушми! (т. е. бери только два яйца, больше не тронь, отец не велит)» [13, 51–52].

Многочисленные сопоставления «города» и «степи» открывают в очерках Зефилова параллели этих двух миров, заметить которые, по мнению автора, несложно. Так, поведение казахской молодежи напоминает привычки модников-горожан: «молодое поколение, щеголявшее в сво-

ём натуральном костюме с тою беззаботностью и довольством, с которым щеголяют наши львы на городских тротуарах, отправилось вон из кибитки открыто наслаждаться своим блаженством и поддразнивать им товарищей» [13, 50]. Есть в степи и свои лакомства (каймак, неведомый большинству русских, — «вкусное, приятное и питательное лакомство Киргизов, которому едва ли не отдадут достойной хвалы и наши русские лакомки, бывавшие в степи» [13, 49]), и умелые «гастрономы» — «своего рода фокусники, подобные нашим кондитерам», которые «из всяких снадобий, составив на разные манеры козульки, продают их в стеклянных банках и за дорогую цену расстраивают желудки наших детей» [13, 49]. Восприятие и оценка традиций иного этноса — дело привычки. Так, например, в многоженстве Зефилов видит много плюсов, ведь большинство жен кочевников тихи и услужливы¹³; а детско-родительским отношениям казахов зачастую можно поучиться и русским (вспомним эпизод с разорением гусиных гнезд, когда подростком Зефилов набрал в камышах гусиных яиц столько, сколько мог унести в руках, и «с этой несчастной добычей вышел из камышей — по колени в грязи и с окровавленными руками, обрезанными осокой. В этом торжественно-гадком виде встретил меня отец мой. как сей час помню, три его самсоновские оплеухи далеко разнесли не благоприобретенную добычу и я в слезах и трепете должен был выслушать умную заповедь Киргизов детям своим: *Убей птицу, если ты голоден; но не зори гнезда; не бери из него больше двух яиц; дай созреть плоду и он принесёт тебе новую птицу со вторичею* (курсив автора — НГ). Жаль, что такого мудрого правила и с такою силою убеждения не внушают детям в наших родительских домах [13, 51–52]).

¹⁰ Впрочем, слабые стороны дилетантизма очевидны. Они проявляются, например, в очерке «Удряк-баш, или 22 августа в мещеряцком кантоне» (1852), где Зефилов тяготеет к необходимости описывать жизнь мещеряцкой деревни, кажущейся ему лишенной индивидуальности и привлекательности. Отметим, не без раздражения, «сонливость, какое-то физическое изнурение», которые «неживописно отпечатаны на физиономии почти каждого Мещеряка», удивившись их склонности к «беспрерывным жалобам и тяжбам» при потенциальных «источниках изобилия» больших, чем у русских крестьян, пожурив за неряшливость и отсутствие воли [12, 35–36]. Зефилов желал бы избежать описания праздника, так как «Мещеряцкие праздники вообще бедны и ничего не представляют любопытного для наблюдения; это не более, ни менее, как жирное угощение обедом, с присовокуплением к нему большого количества кислого мёду, от которого охмелевшие головы поют свои родные песни, вот и всё» [12, 38]. Однако в общей композиции очерка эта вводная характеристика народа выполняет функции зачина, контрастного по отношению к средней части, где «дрема» мещеряков и «скука автора» разбиваются лицезрением скачек.

¹¹ О способах передачи русской речи у уст «инородцев» как проявлении тенденциозности этнографического повествования, см. на материале описания финно-угорских народов Севера России у С. Максимова [7].

¹² Впрочем, у Зефилова есть примеры и иного рода, обычно все же более мягкие, чем «в среднем» характерные для той эпохи: «...Восторженные клики спустились к тону обыкновенного татарского талалаканья» [12, 38].

¹³ «... Одна из жён старшины, выхватив меня из седла, утащила в кибитку и усадив на разостланный ковёр, подала в небольшой деревянной чашке лучшее киргизское лакомство — каймак» [13, 49].

В повествовании Зефилов часто меняет дистанцию описания, чередуя как пристальный близкий взгляд (обнаруживающий, по большей части, его глубокое знание предмета и эмпатию к нему), так и «удаленную оптику», к которой он прибегает, прежде всего, как к точке зрения своего читателя, стремясь живее представить ему тот мир, который открывается в поездках по Уралу. В этом ряду находятся и ироническое именование проводника-башкира «чичероне» («Чичероне мой уговорил меня остаться ещё на день и быть свидетелем, и даже участником рыбной ловли на этом озере» [10, 28]¹⁴, и использование в качестве регулярного сопоставительного ряда библейские образы (Иаков, Иордан, «самсоновские оплеухи», «Вавилонские реки» и др.) и, шире, героев античности и всемирной истории: наиболее склонен Зефилов к древнеримским параллелям¹⁵ (Капитолий, Сенат, Цицерон, Катилина и др.), однако есть и Колумб, и Сан-Сальвадор¹⁶. Подобные сравнения позволяют уфимскому литератору позиционировать «дикую степь» как составляющую мировой истории, в том числе апеллируя к опыту русской литературы. В этом смысле романтическая парадигма отношения к «вольным степным народам» оказывается соответствующей реальному жизненному опыту южноуральского корреспондента ОГВ, ощущающему больше родства с киргизами, чем с «европейцами»: «...Блуждая по степи по произволу вожака, нет наслаждения выше того, когда почувствуешь дым близкого аула, где кочуют Киргизы. При этом душа ваша мгновенно отдыхает; все огорчения, забыты и не испытанный европейцем восторг выливается только в короткой, ласковой просьбе вожаку: чап, чап! (скорее, скорее!). И вот чрез час из-за ближнего пригорка являются глазам вашим две, три красивенькие головки на длинных шеях верблюдов, обращённых на вас с видом величайшего удивления. Далее, по склону горы, разсыпаны многочисленные стада баранов и лошадей, и наконец, в глубине долины, на берегу реки раскинут Киргизский аул во сто, или двести кибиток. И здесь-то дикие сыны степей за чашкой кумыза толкуют о красоте своих коней и о наслаждениях дикой неги, как Черкесы Пушкина» [12, 47].

Масштабных этнографических полотен В. Зефилов не оставил, его заметки, скорее, живописуют пеструю и эмоционально окрашенную картину настоящего и прошлого Башкирии и оренбургской степи. Установка на достоверность изображаемого прямо выражена в его текстах: «В одно прекрасное утро (поверьте, что это не из книги); я уж ручаюсь за правду...» [12, 40-41] В рамках тенденций XIX века, Зефилов-литератор легко сравнивает народы, открыто и темпе-

раментно выражая свое мнение. Искренность и открытость Зефилова придают личностную окраску всем его сочинениям. Например, популярную среди башкир борьбу он решительно не жалуется и не скрывает это: «Мне не нравилась эта скучная медленность, эти плутовские уловки и вообще поза борцов, по окончании которой, как на победителя, так и на побеждённого в равной степени жалко смотреть. По мне, т.е. по моей теории о борьбе, если уж пришлось иметь дело с противником, то, взвесив свои силы, по-русски, схватил его за шиворот, да и об пол, а в противном случае... моё почтение господу. А для народной потехи я уж никак бы не дал помять свои бока; да и перед добрыми людьми совестно» [12, 40-41]. Вообще, проза Зефилова демонстрирует, что многолетняя жизнь бок о бок с башкирами, мешеряками, тептерями и другими народностями степи может строиться мирно только на принятии и практической выгоде¹⁷. Присутствие элементов манипуляции в отношениях ничуть не смущает его, обнаруживая себя в тексте в качестве не прямой зооморфной метафоры: Зефилов вспоминает, как его отец, «с малолетства прилинейный житель, в совершенстве понимал характер Киргизов и, бывши священником, хотя не образованным по нынешнему, понимал цель своих обязанностей и знал, что после куса хлеба, брошенного голодной собаке, она не укусит, и после постоянной ласки, оказываемой Киргизу, он из хищного врага может сделаться верным другом» [13, 50]. Прагматизм становится лучшей опорой долговременного сотрудничества: «Руководствуясь этим правилом он приобрёл многих друзей из богатых ордынцев, имевших большое влияние на своих родичей и этим средством имел возможность делать добро своей духовной пастве — жителям крепости Орской» [13, 50]. Схожим образом поступает и сам Василий Зефилов, когда хочет вывести стариков-башкир на откровенный разговор. В тексте знаки искреннего расположения соседствуют с манипулятивными техниками: «напомнив старикам, что пора пить чай, я пригласил их в мой бедный приют. Здесь-то, на просторе, усадив дорогих гостей на нары с

¹⁴ В этих именовании Зефилов не был уникален. Толковый словарь Ушакова, например, приводит значение слова «чичероне», сопровождаемое примером из Григоровича: «Джентльмен подкупает вас любовью своего обращения, он предлагает свои услуги, предлагает быть вашим чичероне» [22].

¹⁵ «Между тем Кантонный снял красную шаль, висевшую на шесте, и своими руками обвязал шею скакуна. Второй и третьей лошади было роздано по несколько аршин коленкора. Прочие уже не приближались к этому месту, к этому капитолию, где так торжественно венчали их счастливых товарищей; — им было стыдно» [12, 31]. «Полагаю, что речь Цицерона в Римском Сенате против Катилины была не сильнее речи моего отца в Киргизском ауле» [13, 50].

¹⁶ «...Я с издала увидел эту гору и конечно всё моё внимание обратилось к ней, как взгляд Колумба к таинственному берегу Сан-Сальвадора» [11, 31].

¹⁷ Таков и переданный Зефилову успешный опыт отношений со степняками его приемного отца-миссионера: очерк «Удряк-баш» содержит выразительный эпизод переговоров по поводу угнанного джагабайлинцами за Орь табуна, где священник то запугивает, то просит, то дразнит Старшину Усу, прекрасно ориентируясь в переговорных стратегиях и возвращая, в итоге, табун в крепость [13, 50-51].

раскинутым ковром и подушками, я с неподдельным усердием стал угощать их чаем, и между тем окольным путём пошёл к тому разговору, который занимал меня. Перебрав всю мелочь о трудностях настоящей жизни, о неурожаях хлеба, о народной бедности; пересказав, сквозь слёзы, два-три грустных обстоятельства, случившихся будто (*sic!* — *НГ*) бы со мной, я наконец добился толку и вызвал стариков на разговор, чисто откровенный» [12, 42]. Отметим еще два момента: первые и главные учителя «непрямых путей» в переговорах — сами кочевники; сам Зефиров искренен в своем желании сохранить хорошие отношения, поэтому останавливает повествование там, где продолжение означало бы злоупотребление гостеприимством и эмпатией старейшин («...но будет! За порог не выносят сора» [12, 42]).

1.3. «Золотой век» Оренбургского края в очерках В. Зефирова

Большинство очерков В. Зефирова представляют собой фиксацию живых впечатлений от поездок и встреч. Текст о Табынске («Поездка в Табынск», 1850), несмотря на привычное название, максимально насыщен историческим содержанием, которое излагает автор, сидящий на уступе Воскресенской горы, «увлекаясь мыслью во времена прошедшие» и остановясь «на периоде первобытного существования этой крепости» [10, 23]. Вся история освоения-завоевания края предстает у Зефирова как история взаимной вражды-дружбы башкир и русских. История история Табынской крепости, воздвигнутой «для усмирения башкирцев» «в самой глуши Башкирии» в 1736 году и пережившей несколько периодов своего развития, показательна в этом отношении. В старину крепость была не только форпостом, но и местом самого веселого, «безэтикетного» времяпрепровождения «в кругу — удалённом от всего постороннего мира на несколько сот вёрст, и где всякое развлечение...зависело от собственных их сил — от их характеров» [10, 26]. «Золотым веком исторического существования Табынской крепости» стали времена генерал-лейтенанта Сойманова со свитой, когда «обеда, вечера с музыкой и песенниками; шумные тосты за здоровье Царя и славу Русского оружия сопровождалась громом ружейных и пушечных выстрелов, и всякой пир оканчивался великолепным фейверком» [10, 26]. На эти праздники часто «были приглашаемы знатнейшие старшины Башкирские, и тогда картина пиршества представляла более разнообразные виды. После русских потех начинались воинственные потехи Башкирских наездников: скачка на лошадях, ручная борьба, стрельба из луков и шумная поездка в горы для травли оленьей и волков» [10, 26].

Идиллическому замирению предшествует, становясь осью нарратива о крепости в целом, история личного противостояния главы Табынской крепости — балахнинского купца Утятникова¹⁸, и башкирского старшины Кульмяк-Абыза, «главы всех башкирских мятежей». Кульмяк-Абыз описан как харизматичный лидер, снискавший авторитет сородичей и склонный к беспорядкам, — «корень зла», как видел, «при своей проницательности и знании характера Башкирцев», Утятников¹⁹. «Укращение мятежей», предпринятое Утятниковым, подано как военная хитрость человека, сознающего, «что открытыми мерами ему не победить своего смелого и сильного врага». Используя свой жизненный и профессиональный опыт, Утятников заводит «торговые сношения, обещавшие Кульмяку значительные барыши», показывая ему «полную доверенность». Сближение противников доходит до «тесной дружбы». Зефиров рисует развернутую драматическую сцену приготовления Утятниковым ловушки для Кульмяк-Абыза, замаскированной под необходимость ответного дружеского визита. «Улучив приятное время, в минуту сердечной откровенности, Утятников стал говорить своему приятелю: «послушай, Старшина, сколько времени уже я веду с тобой знакомство, сколько раз я был в твоём доме и во всё это время я видел от тебя искреннюю дружбу. Приеду ли к тебе рано утром, приеду ли поздно вечером, — ты всегда мне рад; и хлеб и соль для меня всегда на столе; когда же я отплачу тебе за твоё угощение, когда же ты приедешь ко мне?... Кульмяк задумался. — Что ж, продолжал Утятников, разве мой хлеб горек; разве мой хлеб противен тебе. Разве ты меня обидеть хочешь? Разве не хочешь быть знакомым со мною? Разве... — Полно, полно, перебил его Кульмяк. — Так знай же воскликнул Утятников, вскочив с места и опрокинув чашку выпитого кумызу, (что означало прекращение хлебосольства), знай же, что я был у тебя в последний раз! Если же ты приедешь ко мне, — подарю тебе лучшего скакуна с моей конюшни; не пожалю даже того ружья, которое

¹⁸ Вот как Зефиров характеризует Утятникова: «...К счастью Табынска в нём находился человек, обладавший твёрдым, предприимчивым характером, светлым умом, знанием военного дела и верностью не подкупною; — этот человек был Балахнинский купец Утятников. Поняв и оценив редкие способности его, Управлявший в то время Оренбургским краем, Статский Советник Кирилов, поручил ему управление Табынскою крепостию. При неутомимой деятельности своей и при средствах, состоявших в полном его распоряжении, Утятников вполне оправдал доверие Правительства, и одним смелым предприятием, уничтожив возникший бунт Башкирцев, заслужил Монаршее благоволение, и по Имянному повелению Императрицы Анны Иоанновны награждён был чином Коммисара» [10, 24].

¹⁹ «Главою всех Башкирских мятежей был старшина Кульмяк-Абыз. При огромном богатстве своём, при физических силах и разбойничьей решительности, Кульмяк пользовался полным уважением и доверенностью своих родовичей. Одно его слово волновало их шаткие умы, одно приказание его влекло за собой грозное восстание, и по одному его мановению дикие сыны степей безотчётно летели на самое отчаянное, кровопролитное предприятие» [10, 24].

тебе так понравилось; а если не приедешь, то забуду где стоит твоя юрта; забуду в которую сторону отворяется дверь её, и забуду даже как зовут доброго старшину Кульмяк-Абыза» [10, 24-25]. И вновь мы видим сочетания множественных техник у государева слуги (от обещания подарков до угрозы разрыва отношений под предлогом нанесенной обиды). В результате именно «коварный башкирец» оказывается обманут, когда, сдержав слово, прибывает на другой день с четырьмя сподвижниками к Утятникову. «Долг службы» в этой истории противопоставлен «роли рыцарской чести» (!), которую «вовсе не думал в настоящем случае разыгрывать с разбойником» комиссар (sic!) Правительства. Безоружный Кульмяк схвачен, связан и «без дальних околичностей, вместе с его товарищами» отправлен в Военную Коммиссию. Табынский край успокаивается надолго, «потеряв главу всех своих кровавых предприятий» [10, 24].

Очерк о Табынске достаточно объёмен и политематичен, однако мы ограничимся обозначенным эпическим стержнем. Тема героизации и романтизации прошлого Башкирии, а точнее, освоения русскими Оренбургского края, присутствует не только в очерках Зефирова. Эпическая составляющая присутствует на страницах ОГВ также в заметках П. Павловского и К. Ивлентьева²⁰. Таким образом, историко-культурный «фонд» края, обогащаемый год за годом публикациями историко-краеведческого характера в ОГВ, изначально формируется не как «объективный» («нейтральный»), но, скорее, как образ героической юности края, лишь угадываемой в одряхлевшем сонном настоящем. И только натуры, сохранившие в себе детскую чуткость восприятия, способны ощутить огонь под тлеющими углями повседневности. Этот огонь и вспыхивает спустя полвека в проблематике самоидентичности, активно задействуя краеведческий дискурс. Так, исторический экскурс в прошлое Светлогорска (Уфы) непосредственно предвещает кульминацию романа А. Федорова, а не служит ему привычной краеведческой интродукцией²¹, что свидетельствует об активной (а не иллюстративной) роли прошлого в судьбе героя.

2. «Кабинетные занятия» Василия Юматова: в поисках «духа жизни»²²

Василий Степанович Юматов, уфимский помещик, увлекающийся историческими изысканиями, оказался одной из важнейших «находок» редактора И. Сосфенова. В своих объемных, по газетным меркам, историческо-краеведческих работах он реализует совсем иные стратегии описания, нежели В. Зефилов. Основательность его подхода к прошлому и

настоящему «степи» задает новый уровень отношения и описания. К сожалению, всего через год сотрудничества с ОГВ Василий Юматов станет жертвой эпидемии холеры (некролог размещен редакцией в № 30 за 24 июля 1848 года [2]), однако и после его ухода И. Сосфенов продолжит публиковать некоторые из доступных ему материалов Юматова. Если в заметках Зефирова можно обнаружить его знакомство с хрестоматийными античными авторами и скрытые цитаты из них, то риторические приемы В. Юматова в качестве образца отсылают к стратегиям исторического повествования Фукидида, с его способностью выстроить объемную картину повествования, используя речи персонажей обеих враждующих сторон²³. Аналогия неслучайна: из некролога мы узнаем, что Юматов, хотя и не получил в молодости «надлежащего образования», компенсировал его «природным умом» и «острой памятью» так, что пройдя «военное поприще» и «службу по выборам», закончил службу в должности судьи в Уфимском Уездном Суде. Последние 18 лет жизни он провел «мирным селянином» в своем имении на берегах Демы, собирая материалы для Истории Оренбургского края и дочитывая Полное Собрание Законов, «извлекая из этого кодекса все правительственные постановления», касающиеся края [2]. Привычка работать с документами, разбирая дела, по-видимому, и выработала особую объективную манеру Юматова-историка; здесь можно говорить о типологическом сходстве некоторых этапов становления региональной словесности с логикой общеевропейского литературного развития (по крайней мере, в отношении связи судебной риторической практики со становлением критического исторического повествования).

Творческая манера Юматова — работа историка и краеведа, в минимальной степени прибегающего к элементам художественного творчества; его труды прямо повлияли на становление научного языка описания южного фронта России. Например, разбирая этимологию самоназваний башкир (от «главного волка», «волка-вожака» до сомнительных

²⁰ В случае К. Ивлентьева эпическая составляющая проявляет себя уже в названиях публикации — «Сказание о Бузулуке» (1850)) [15].

²¹ Подробнее об этом см. [5]. Показателен в этом смысле очерк В. Зефирова «Взгляд на Уфу», возможно, непосредственно послуживший одним из источников для воссоздания картины прошлого Светлогорска: осада Уфы Чикой Зарубиным, история оврага Черкалина и др. [9].

²² Слова, взятые в кавычки, представляют собой цитаты из некролога редакции ОГВ [2].

²³ О влиянии судебной риторики на строение исторических сочинений Фукидида, см., например в статье Абаимова [1]. Надо заметить, что самому Юматову обращение к античным историкам казалось, очевидно, вполне естественным. Так, в статье «Древние предания у башкирцев» он приводит башкирское предание об озере Акзирият, откуда «лучшая порода их лошадей вышла... и была шерстью белая», ссылаясь при этом на рассказ Геродота о Скифии и пасущихся вокруг озера Гипанис белых лошадях [28, 253] и на доклад Волянского императрице Анне Иоанновне в 1738 году о диких лошадях в Зауралье и в Сибири.

«главного пчеловода» и «главного червя»), Юматов спокойно рассматривает аргументы «за» и «против» каждого варианта значений. [26]. Именно в сочинениях Юматова мы находим ту глубину исторических сведений о Башкирии, которая затем на почти на столетие станет своеобразным «стандартом» этого жанра: Южный Урал показан у него как территория, прежде всего, размеченная маршрутами разных народов, письменные свидетельства о чем мы находим начиная с IX-X вв. («Ахмет сын Фодлан», «Плано-Карпини», «Ильом Рубруквис» и др. [28]). Объективность подхода Юматова очевидна и в статье «Исследование о начале Гурьева города», где сведения, полученные от казаков, подвергаются такой же проверке, что и информация от башкир. В результате Юматов развенчивает уверенность казаков в древнейшем основании их города, прослеживая по летописям всю цепь событий, имеющих отношение к Гурьеву и последовавших после казачьего разбойного разорения Сарайчика, столицы Ногайский ханов [29].

Если анализировать тексты В. Юматова с точки зрения соотношения в них художественности и документальности, то «литературного» в них, действительно, будет немного. Вот, например, одна из лучших его статей «Древние памятники на земле Башкирцев Чубиминской волости» (1848) [27], содержащая подробное описание нескольких археологических памятников «до покорения Башкирии Россией». Художественная деталь в ней всего одна — зарисовка осеннего дня с огромными стаями перелетных птиц в окрестностях Чишмы под Уфой, куда приезжают Юматов со своим спутником ради посещения мавзолея Хусейн-бека (XIV в.); все остальное — подробное описание как самого памятника, так и наблюдаемой Юматовым практики его почитания²⁴.

В подходе Юматова к истории Башкирии привлекает широта, с которой он склонен подходить к изучению исторического прошлого края: он отчетливо сознает, что «история, которой события известны нам только в главных своих чертах, а весьма мало известны в подробностях, есть ни что иное как скелет, не имеющий не только жизни, но и тела. Чтобы дыть тело этому скелету, надобно собрать сколько можно более подробностей; тогда только будущий историк, искусством своим, может вдохнуть в него дух жизни, и оживленный скелет явится в настоящем своем виде» [25, 238]. «Дух жизни» сам Юматов ищет везде, не ограничивая себя архивными документами, но призывая читателей «Оренбургских губернских ведомостей» собирать башкирские предания, поскольку «степень достоверности преданий и самая анахронизмы и басни в них вкравшиеся, могут

быть большею частию определены сравнением и проверкою с другими источниками. Предания Башкирцев и их исторические или барские песни, имеют еще особенную свойственную им прелесть и занимательность, изображая часть протекшей жизни народа, его прежние нравы, привычки, обычаи, образ жизни и понятия» [27, 246]. Эту мысль Юматов развивает в статье «Древние предания у башкирцев Чубиминской волости» (1848), где из констатации плохой сохранности архитектурных памятников на территории Оренбургского края и Башкирии им делается вывод о необходимости обращения к устной истории края, к фольклору: «У башкирцев почти о каждом несколько замечательном месте есть свое особенное предание. У народов просвещенных пишут историю, летописи, биографии, записки: у народов малограмотных, младенствующих на низкой сепени общности, все это заменяется или преданиями, переходящими изустно от отцов к детям, или народными, историческими песнями, которые есть те же предания, только облеченные в поэтическую форму. Нет спора, что предания, особливо в временах отдаленных, искажаясь в переходах своих, никогда не могут быть совершенно чисты от примесы вымысла и не имеют на себе печати достоверности, особливо без проверки другими несомненными источниками, а потому и никогда не могут заменить истинных исторических известий. Но и самые предания также любопытны иногда в историческом, а чаще в этнографическом отношении, показывая некоторым образом умоначертание, образ мыслей, понятий и нравов народа» [28]²⁵.

3. Рефлексия литераторов Южного Урала

Судя по разрозненным замечаниям, для большинства корреспондентов ОГВ рефлексия о месте и значении Урала в общероссийской истории, а также осмысление собственной идентичности и как жителей Урала, и как представителей провинциальной прессы

²⁴ Этот текст очень примечателен, так как сочетает научную точность и достоверность описания постройки с острыми наблюдениями этнографа и литератора и рассуждениями историка: приведена практика поклонения захоронению, описание размера выпадающих из строения кирпичей, расшифровка надписи и перевод ее с арабского (Юматов дает имя переводчика: разобрал и списал надпись муллы Таир д. Караякуповой, который знал арабский и турецко-джагатайский и умер в ноябре 1847 года ста лет от роду). Фактически Юматов осуществляет в своей заметке своеобразную музеефикацию этого объекта, обладающего археологической, исторической, этнографической ценностью [27].

²⁵ Вообще, малое количество сохранившихся на территории Башкирии «каменных памятников и развалин», для Юматова служит аргументом в пользу поиска и сбора иных средств фиксации народной памяти о прошлом, то есть скорее оценивается им как специфика территории, нежели ее «отсталость»: «...Самое это отсутствие памятников и развалин говорит нам, что здесь издревле обитал народ пастушеский, кочующий, живший в расзееии, у которого не было ни городов, ни твердынь каменных. И этот вывод подтверждают нам немногие, краткие известия, так сказать, мимоходом брошенные путешественниками о Башкирии» [27].

были значимы. Тем более ценны высказывания тех деятелей культуры, которые вербализовали свои (и не только свои) позиции, сомнения и чаяния. Позиции В. Юматова и В. Зефирова, внесших ощутимый вклад в формирование историко-культурной идентичности региона, кажутся нам показательными и характерными для этого периода развития южноуральской словесности.

3.1. Василий Юматов: призыв к «трудолюбивым кропателям»

Собственную историко-краеведческую деятельность В. Юматов, вероятнее всего, определил бы как пронесенное через всю жизнь служение, вызванное искренним и глубоким интересом к истории родной земли, о чем свидетельствуют, например, такое его замечание: «Еще в молодости моей я видел у тогдашних уфимских стариков рукописную уфимскую летопись, теперь, когда я уже сам сделался стариком, несколько времени напрасно ищу ее» [25, 246].

В статье «Мысли об истории Оренбургской губернии» (1847) Юматов излагает и необходимые, по его мнению, шаги по консолидации усилий местного сообщества. После ритуального упоминания Государя Императора («Нельзя сомневаться, что в мудрое царствование Государя Императора Николая Павловича и в этом отношении исполнятся наши надежды и желания; дойдет очередь и до нас, и наши исторические документы сделаются общеизвестными» [25, 247]) следует горячий призыв ко всем образованным уральцам, ибо промедление в деле сбора данных, по Юматову, ничем не может быть оправдано: «Но неужели в ожидании того, мы жители Оренбургской губернии и чиновники, служащие в ней, не будем совсем заниматься историей страны, в которой живем; неужели в этом отношении, для нас уже нет никакого дела?» [25, 247]. Обращаясь к успешному опыту Одессы, Юматов предлагает объединиться всем образованным, просвещенным чиновникам по учебной и другим частям Уфы в «общество любителей истории и древностей» (что, как мы знаем, будет через пару десятилетий осуществлено в Казани и Екатеринбурге и через полвека в Уфе). Определяя себя как «жителей сельской глуши», Юматов не смущается малостью отведенной роли, ибо «трудолюбивые кропатели могут принести свою часть пользы», подобно тому как «в мире физическом и муравьи исполняют свое назначение» [25, 247]. Конкретными задачами будущего Общества любителей истории Юматов видит сбор и публикацию известных башкирских преданий и батырских песен, важнейших из

поземельных актов, квитанций в платеже ясак и др. Документов; исследования и разъяснения «о разных темных предметах истории», описание памятников и «местностей разных действий», способствовать распространению библиографически редких рукописей и документов через другие подобные общества в стране. Современный ему этап развития краеведения Юматов характеризует как время разрозненных усилий, поэтому труды любителей истории Оренбургской губернии «большею частию гибнут бесполезно». Как показывают работы Юматова, сам он не относился к пустым прожектерам, устанавливая в качестве первого необходимого доступного шага, «чтобы все, имеющее у себя старинные поземельные и другие документы, и свои исследования и описания делали общеизвестными, хотя чрез местные губернские ведомости, которые конечно с удовольствием напечатают на своих страницах все полезное» [25, 248].

Таким образом, позиция Юматова (внимание к местной истории, видение перспектив исследования, реабилитация «скромного», «малого» поэтапного вклада каждого в пополнение общего фонда исторических знаний) вполне соответствует тем тенденциям середины XIX века, в рамках которых развивалась деятельность Оренбургского губернского статистического комитета (1835), Русского географического общества (1845), позднее — Уфимского губернского музея (1864) и только безвременная кончина историка не позволила реализоваться многим его начинаниям.²⁶

3.2. Василий Зефиров: степь, море и душа

В. Зефиров переживал свое пребывание на уральском южном фронтире Российской империи более эмоционально. Размеры страны не были для него абстрактным понятием, а переживались сквозь призму такого понятного на Южном Урале опыта «освоения» через «усмирение» и «обуздание»: «Страх берёт при одном мысленном объёме необъятных границ нашего отечества, и какие исполинские силы потребны только для пограничного его укрепления с востока, севера, запада и юга. Сколько нужно городов, сколько крепостей, сколько войск! Но бросив взгляд на отечественные события лет за 70, или 80, находим, что эти военные укрепления необходимы были

²⁶ Впрочем, В. Юматов сдержанно относился к реальности осуществления своих чаяний: «Но осуществляются ли когда мечты мои о том, или останутся мечтами, не знаю» [25, 247-248].

даже и внутри России: одни для отражения разбойнических набегов Киргизской орды, другие для удержания гибельных для края возмущений наших, ныне добрых, смиренных и услужливых Башкирцев» [10, 23]. Голос «имперского сознания» в публикациях Зефирова не внешний, а глубокого прочувствованный, ведь едва покинув Уфу, Оренбург или другой город Южного Урала, горожанин (даже «номад в душе») оказывается на границе обжитого (=имперского, русского) пространства и степи. Как известно, степь в русской литературе образует концепт со сложным, меняющимся во времени, содержанием. С одной стороны, Зефилов без устали поэтизирует ее: «И как хороша была эта степь! Ничего дикого, пустынного; напротив, она цвела всею роскошью своей растительности, разнообразными ландшафтами рисовались на ней разбросанные там и сям деревеньки, в ложине виднелся Стерлитамак, и красавица Белая блестящей серебряной лентой извивалась по всему пространству её, принимая в себя несколько речек и ручьёв. Куда ни посмотри, везде хорошо, везде прекрасно. Так бы и полетел в эти зелёные рощи, на эти цветущие луга; так бы и перенёсся вдаль, куда манит тебя чудный силуэт старика — Урала, величаво рисующийся на огромном, едва доступном глазу, пространстве...» [11, 34]²⁷. При таком восприятии главным объектом сопоставления со степью в его очерках становится море²⁸. Степь окаймляется морем, но является ли она лишь дорогой к нему, лишь безжизненным пространством между небесами и морской гладью? Богатства степи сродни богатствам морским: «Точно так же и Киргизская степь, не менее моря, богата картинами прекрасными и поучительными, если не в проявлениях природы физической, то в отношении этнографическом» [13, 46].

Часто мысль Зефирова движется по треугольнику: степь-море-душа. По его словам, это те три предмета, над которыми «любопытный ум» человека трудился «постоянно и много веков». Однако «с последним вашим шагом к берегу Урала, оканчивается последняя страница истории новейших времён, и с переходом за европейскую грань, перед вами открываются первые страницы истории рода человеческого в его первобытном состоянии» [13, 46]. Воспетое ранее возвращение в детство обретает в степи иное, драматическое измерение. Киргизская степь, о которой пишет Зефилов, «во всей своей поразительной нагоде» ставит перед человеком бытийные вопросы, снимая все утешительные культурные покровы:

«Киргизская степь — обширная, пустынная, бесплодная, по которой блуждают тысячи людей, лишённых образования и гражданственности и с искони веков, для отыскания пропитания, переходящих с своими стадами с одного места на другое. И чем дальше углубляетесь вы в степь, тем более, тем осязательнее для души становится мертвенная пустыня её. Уже не слышать торжественного гула колоколов оренбургских церквей, не слышать русского произношения, и по степи, где не видать следа человеческого, где нет никаких положительных путей, кроме опытного вожака — Киргиза, где нет никакого особенного предмета, на котором бы мог остановиться ваш вотще блуждающий взгляд, — печально волнуется один только седой ковыль, и душа, надолго подавленная этой тишиной, этим единообразием, этим убийственным отсутствием внешних впечатлений, падает наконец под тяжестью безотчётной грусти» [13, 46-47]. Учитывая оптимизм Зефирова, позитивную ролевую палитру его тестов и хорошее знание культуры кочевых народов — это впечатляющее признание. Таким образом, в публицистике Зефирова мы обнаруживаем ту амплитуду значений и символических образов «степи» и ее детей, которая будет буквально реализована в образах романов А. Федорова и Н. Крашенинникова: Амели-ребенка, ее бегства в степь накануне замужества; Арасланова, отвергнувшего цивилизацию и ставшего героем предания и др.

Возвращаясь к актуальному для Южного Урала концепту «гения места», остающегося, по мнению римлян, у могилы «своего человека» и являющегося другим в змеином облики, констатируем, что местная периодическая печать середины XIX века, активно разрабатывая краеведческую и этнографическую проблематику, обнаружила и частично вербализовала и этот темный, хтонический смысл «гения места»: часы и годы подспудной работы «места» с личностью человека вдруг могут соединиться в то самое «непреодолимое обстоятельство», которое, зацепившись терновником за подол, остановит героя, чтобы он, наконец, встретился со своей судьбой.

²⁷ За ограниченностью объема статьи мы оставляем в стороне внутреннюю полемику Зефирова с «жителями лесных стран» Оренбургской губернии, именующих степь «песочницей» и не способных оценить все прелести благословенного степного края и красоты Оренбурга. Лишь «оградив по возможности, мой родимый край от неприятных нападения», Зефилов переходит к изложению содержания автобиографического очерка «Летучая почта, или ночь на гаубтвахте» (1855) [14].

²⁸ Нам неизвестно, видел ли Зефилов море своими глазами, или апеллировал исключительно к художественным образцам; тексты свидетельствуют, скорее, о втором.

Библиографический список

1. Абаимов М.С. Исторический метод Фукидида и надгробная речь Перикла в контексте судебной риторики V в. до н.э. // Вестник ЧГУ. 2007. №4. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-metod-fukidida-i-nadgrobnaya-rech-perikla-v-kontekste-sudebnoy-ritoriki-v-v-do-n-e-ixzz3uc4XpzSn> (дата обращения: 17.12.2015).
2. Б/п. Некролог // ОГВ. 1848. №30, 24 июля. С. 197.
3. Вергилий. Энеида. Книга Пятая, 90—95. С. 238. // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида М.:НФ: «Пушкинская библиотека»: АСТ, 2005. 908 с.
4. Головнев А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН; «Волот», 2009. 496 с.
5. Граматчикова Н.Б. «Гений места» как хранитель исторической памяти в романе А. Федорова «Степь сказалась» // Литература Урала: история и современность: Сб. ст. Вып. 3: Материалы III Всерос. науч. конф. «Литература Урала: автор как творческая индивидуальность (национальный и региональный аспекты)», Екатеринбург, 11-13 окт. 2007 г.: В 2 т. Т. 2. Екатеринбург: УрО РАН; ИД «Союз писателей», 2007. 428 с. С. 194-207. URL: <http://www.litural.ru/issled/vyp-3-2/> (дата обращения 12. 12. 2015).
6. Граматчикова Н.Б. «Русский орел» vs. «Плутон-Шайтан»: идеология и этнография в «Оренбургских губернских ведомостях» в 1850-х гг. // Уральский исторический вестник. 2016. № 1 (50). С. 16-24.
7. Граматчикова Н.Б. Финно-угорское население Севера России: взгляд русского этнографа (по материалам очерков С.В.Максимова «Год на Севере») // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2015. №3 (142). URL: <http://elar.urfu.ru/handle/10995/34995>
8. Зефиров В. Конские черепа // ОГВ. 1847. № 26, 28 июня. С. 316.
9. Зефиров В. Взгляд на Уфу // ОГВ. 1850. № 39, 30 сентября, с. 182-185; № 40, 4 октября, с. 186-189. URL: <http://bp01.ru/public.php?public=2781>
10. Зефиров В. Поездка в Табынск // ОГВ. 1850. 18 ноября. Цит. по Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв. / составитель М.И. Роднов / ИИЯЛ УНЦ РАН. Уфа, 2014. 182 с.
11. Зефиров В. Шихан (Из восп. провин. туриста) // ОГВ. 1851. 20 ноября. Цит. по Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв. / составитель М.И. Роднов / ИИЯЛ УНЦ РАН. Уфа, 2014. 182 с.
12. Зефиров В. Удьяк-баш, или 22 Августа в мешерякском кантоне // ОГВ. 1852. 9 августа. Цит. по Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв. / составитель М.И. Роднов / ИИЯЛ УНЦ РАН. Уфа, 2014. 182 с.
13. Зефиров В. Две ночи за Уралом // ОГВ. 1853. 5, 12, 19, 26 декабря. // Роднов М.И. Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв. / составитель М.И. Роднов / ИИЯЛ УНЦ РАН. Уфа, 2014. 182 с.
14. В. 3. ф. р. в. Летучая почта, или ночь на гаубтвахте (Из воспоминаний об Оренбурге). (Посвящается Кондратию Игнатьевичу Блохину) // ОГВ. 1855. 12, 19, 26 февраля, 5 марта // Роднов М. И. Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв. / составитель М.И. Роднов / ИИЯЛ УНЦ РАН. Уфа, 2014. 182 с.
15. Ивлентьев К. Сказание о Бузулуке (от 1736 по 1791 год) // ОГВ. 1850. № 41, с. 190-193.; 1850. № 42, с. 194-197.
16. И.П. Сосфенов: начало уфимской литературы / составитель М.И. Роднов. Уфа, 2012. 104 с.
17. Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв. / составитель М.И. Роднов / ИИЯЛ УНЦ РАН. Уфа, 2014. 182 с. URL: <http://mrodnov.ru/fr/0/public/Kraeved.pdf>
18. Клягина Л.Р. Николай Крашенинников — уральский писатель? (к постановке проблемы). // Литература Урала: история и современность: сборник статей. Екатеринбург: УрО РАН; Объединенный музей писателей Урала; Изд-во АМБ, 2006. 383 с. URL: <http://www.litural.ru/issled/vyp-1/> (дата обращения 12. 12. 2015).
19. Роднов М.И. У истоков уфимской прессы, вкупе с прогулками по старинной Уфе и просторам Башкирии. Уфа, 2009. 172 с. URL: <http://mrodnov.ru/fr/0/public/Kraeved.pdf> (дата обращения 12. 12. 2015).
20. Созина Е.К. «Целый новый для меня мир»: этнографическая беллетристика К. Д. Носилова в русской литературе рубежа XIX-XX вв.» // Quaestio Rossica. 2014. № 2, с. 193-211. URL: <http://journals.urfu.ru/index.php/QR/article/view/050> (дата обращения 12. 12. 2015).
21. Сырова Ю.Н. А.М.Федоров: жизнь и творчество в контексте литературной эпохи конца XIX – начала XX веков (1885 - 1920): 1885-1920. Автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 2006. <http://www.dissercat.com/content/am-fedorov-zhizn-i-tvorchestvo-v-kontekste-literaturnoi-epokhi-kontsa-xix-nachala-xx-vekov-1> (дата обращения 12. 12. 2015).
22. Ушаков Д.Н. Толковый словарь. URL: <http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=85451> (дата обращения 12. 12. 2015).
23. Эртнер Е.Н. Поэтический этнографизм в русском романе конца XIX века // Language & Literature. [Б.г.]. Вып. 4. — URL: <http://frgf.utmn.ru/last/No4/text20.htm> (дата обращения 12. 12. 2015).
24. Эртнер Е.Н. Феноменология провинции в русской прозе конца XIX – начала XX века. Автореф. дис. доктора филол.наук. Екатеринбург, 2005. 44 с. URL: <http://cheloveknauka.com/v/157278/a/#?page=18> (дата обращения 12. 12. 2015).
25. Юматов В. Мысли об Истории Оренбургской губернии //ОГВ. 1847, № 15-17 12,19,26 апреля).
26. Юматов В. О названии Башкирцев // ОГВ. 1847. № 24, 13 июня, с. 249.
27. Юматов В. Древние памятники на земле Башкирцев Чубиминской волости // ОГВ. 1848 №1 (3 января), № 2 (10 января), №5 (31 января), №7 (14 февраля).
28. Юматов В. Древние предания у Башкирцев Чубиминской волости // ОГВ. 1848, № 7 (14 февраля). Цит. по «Башкирия в русской литературе: в 6 томах. Уфа: Башкиргоиздат, 1989. Т. 1. Текст. / Сост., введен, и коммент. М.Г.Рахимкулова. 512 с. 250 с.
29. Юматов В. Исследование о начале Гурьева города //ОГВ. 1848, № 21-25.

Сокращения:

ОГВ — Оренбургские губернские ведомости.